## Завтра была война...

Автор: *Васильев Б.Л.*

Борис Васильев

Завтра была война…

OCR: Александр Белоусенко

«Завтра была война. В списках не значился. А зори здесь тихие... Встречный бой»: У Фактория; 2004

ISBN 5 94799 382 1

Аннотация

«Я, Васильев Борис Львович, родился 21 мая 1924 года в семье командира Красной Армии в городе Смоленске...» — это начальные строки автобиографии.

«Борис Васильев, как миллионы его сверстников, прежде чем стать кем нибудь, стал солдатом...» — это из критических предисловий/послесловий, комментирующих прозу популярного в России и за рубежом автора. И то и другое — правда. Правда — это, пожалуй, и есть главное в том, чему служит Б.Васильев в литературе.

Борис Васильев

Завтра была война…

Пролог

От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись; иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.

На фотографии мы были 7 "Б". После экзаменов Искра Полякова потащила нас в фотоателье на проспекте Революции: она вообще любила проворачивать всяческие мероприятия.

— Мы сфотографируемся после седьмого, а потом после десятого, — ораторствовала она. — Представляете, как будет интересно рассматривать фотографии, когда мы станем старенькими бабушками и дедушками!

Мы набились в тесный «предбанник»; перед нами спешили увековечиться три молодые пары, старушка с внучатами и отделение чубатых донцов. Они сидели в ряд, одинаково картинно опираясь о шашки, и в упор разглядывали наших девочек бесстыжими казачьими глазами. Искре это не понравилось; она тут же договорилась, что нас позовут, когда подойдет очередь, и увела весь класс в соседний сквер. И там, чтобы мы не разбежались, не подрались или, не дай бог, не потоптали газонов, объявила себя Пифией. Лена завязала ей глаза, и Искра начала вещать. Она была щедрой пророчицей: каждого ожидала куча детей и вагон счастья.

— Ты подаришь людям новое лекарство.

— Твой третий сын будет гениальным поэтом.

— Ты построишь самый красивый в мире Дворец пионеров.

Да, это были прекрасные предсказания. Жаль только, что посетить фотоателье второй раз нам не пришлось, дедушками стали всего двое, да и бабушек оказалось куда меньше, чем девочек на фотографии 7 "Б". Когда мы однажды пришли на традиционный сбор школы, весь наш класс уместился в одном ряду. Из сорока пяти человек, закончивших когда то 7 "Б", до седых волос дожило девятнадцать. Выяснив это, мы больше не появлялись на традиционных сборах, где так шумно гремела музыка и так весело встречались те, кто был младше нас. Они громко говорили, пели, смеялись, а нам хотелось молчать. А если и говорить, то…

— Ну как твой осколок? Все еще лезет?

— Лезет, проклятый. Частями.

— Значит, одна двоих вырастила?

— Бабы, как выяснилось, существа двужильные.

— Сердце, братцы, что то того.

— Толстеешь, вот и того.

— Ты бы протез смазал, что ли. Скрипит, спасу нет.

— А ведь мы — самое малочисленное поколение земли.

— Это заметно. Особенно нам, матерям одиночкам.

— Поколение, не знавшее юности, не узнает и старости. Любопытная деталь?

— Главное, оптимистичная.

— Может, помолчим? Тошно вас слушать…

С соседних рядов доносилось радостное: «А помнишь? Помнишь?», а мы не могли вспоминать вслух. Мы вспоминали про себя, и поэтому так часто над нашим рядом повисало согласное молчание.

Мне почему то и сейчас не хочется вспоминать, как мы убегали с уроков, курили в котельной и устраивали толкотню в раздевалке, чтобы хоть на миг прикоснуться к той, которую любили настолько тайно, что не признавались в этом самим себе. Я часами смотрю на выцветшую фотографию, на уже расплывшиеся лица тех, кого нет на этой земле: я хочу понять. Ведь никто же не хотел умирать, правда?

А мы и не знали, что за порогом нашего класса дежурила смерть. Мы были молоды, а незнания молодости восполняются верой в собственное бессмертие. Но из всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо.

Как молоды мы были.

Наша компания тогда была небольшой: три девочки и трое ребят — я, Пашка Остапчук да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зиночки была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой; мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались «надеждой школы», а увалень Александров был признанным изобретателем. Пашка числился влюбленным в Леночку, я безнадежно вздыхал по Зине Коваленко, а Валька увлекался только собственными идеями, равно как Искра собственной деятельностью. Мы ходили в кино, читали вслух те книги, которые Искра объявляла достойными, делали вместе уроки и — болтали. О книгах и фильмах, о друзьях и недругах, о дрейфе «Седова», об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе и просто так, ни о чем.

Иногда в нашей компании появлялись еще двое. Одного мы встречали приветливо, а второго откровенно не любили.

В каждом классе есть свой тихий отличник, над которым все потешаются, но которого чтут как достопримечательность и решительно защищают от нападок посторонних. У нас того тихаря звали Вовиком Храмовым: чуть ли не в первом классе он объявил, что зовут его не Владимиром и даже не Вовой, а именно Вовиком, да так Вовиком и остался. Приятелей у него не было, друзей тем более, и он любил «прислониться» к нам. Придет, сядет в уголке и сидит весь вечер, не раскрывая рта, — одни уши торчат выше головы. Он стригся под машинку и поэтому обладал особо выразительными ушами. Вовик прочитал уйму книг и умел решать самые заковыристые задачи; мы уважали его за эти качества и за то, что его присутствие никому не мешало.

А вот Сашку Стамескина, которого иногда притаскивала Искра, мм не жаловали. Он был из отпетой компании, ругался как ломовой. Но Искре вздумалось его перевоспитывать, и Сашка стал появляться не только в подворотнях. А мы с Пашкой такчасто дрались с ним и с его приятелями, что забыть этого уже не могли: У меня, например, сам собой начинал ныть выбитый лично им зуб, когда я обнаруживал Сашку на горизонте. Тут уж не до приятельских улыбок, но Искра сказала, что будет так, и мы терпели.

Зиночкины родители поощряли наши сборища. Семья у них была с девичьим уклоном. Зиночка родилась последней, сестры ее уже вышли замуж и покинули отчий кров. В семье главной была мама: выяснив численный перевес, папа быстро сдал позиции. Мы редко видели его, поскольку возвращался он обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал в Зиночкнну комнату и всегда приятно удивлялся:

— А, молодежь? Здравствуйте, здравствуйте. Ну, что новенького?

Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.

— Как вы рассматриваете заключение Договора о ненападении с фашистской Германией?

Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами я виновато улыбался. Мы с Пашкой считали, что он навеки запуган прекрасной половиной человечества. Правда, Искра чаще всего задавала вопросы, ответы на которые знала назубок.

— Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.

— Правильно, — говорил Зинин папа. — Это ты верно рассудила. А вот у нас сегодня случай был: заготовки подали не той марки стали…

Жизнь цеха была ему близка и понятна, и он говорил о ней совсем не так, как о политике. Он размахивал руками, смеялся и сердился, вставал и бегал по комнате, наступая нам на ноги. Но мы не любили слушать его цеховые новости: нас куда больше интересовали спорт, авиация и кино. А Зинин папа всю жизнь точил какие то железные болванки; мы слушали с жестоким юношеским равнодушием. Папа рано или поздно улавливал его и смущался.

— Ну, это мелочь, конечно. Надо шире смотреть, я понимаю.

— Какой то он у меня безответный, — сокрушалась Зина. Никак не могу его перевоспитать, прямо беда.

— Родимые пятна, — авторитетно рассуждала Искра. — Люди, которые родились при ужасающем гнете царизма, очень долго ощущают в себе скованность воли и страх перед будущим.

Искра умела объяснять, а Зиночка — слушать. Она каждого слушала по разному, но зато всем существом, словно не только слышала, но и видела, осязала и обоняла одновременно. Она была очень любопытна и чересчур общительна, почему ее не все и не всегда посвящали в свои секреты, но любили бывать в их семье с девичьим уклоном.

Наверное, поэтому здесь было по особому уютно, по особому приветливо и по особому тихо. Папа и мама разговаривали негромко, поскольку кричать было не на кого. Здесь вечно что то стирали и крахмалили, чистили и вытряхивали, жарили и парили и непременно пекли пироги. Они были из дешевой темной муки; я до сих пор помню их вкус и до сих пор убежден, что никогда не ел ничего вкуснее этих пирогов с картошкой. Мы пили чай с дешевыми карамельками, лопали пироги и болтали. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.

— А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?

— Чтобы чай был с керосином?

— Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.

— Ну, собачь, соглашалась Зина.

Валька что то пристраивал, грохотал, дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.

— У Эдисона тоже не все получалось.

— Может, мне Вальку разок за уши поднять? — предлагал Пашка. — Эдисона один раз подняли, и он сразу стал великим изобретателем.

Пашка и вправду мог поднять Вальку за уши: он был очень силен. Влезал по канату, согнув ноги пистолетом, делал стояку на руках и лихо вертел на турнике «солнце». Это требовало усиленных тренировок, и книг Пашка не читал, но любил слушать, когда их читали другие. А так как чаще всего читала Лена

Бокова, то Пашка слушал не столько ушами, сколько глазами, он начал дружить с Леной еще с пятого класса и был постоянен в своих симпатиях и занятиях. Искра тоже неплохо читала, но уж очень любила растолковывать прочитанное, и мы предпочитали Лену, если предполагалось читать нечто особенно интересное. А читали мы тогда много, потому что телевизоров еще не изобрели и даже дешевое дневное кино было нам не по карману.

А еще мы с детства играли в то, чем жили сами. Классы соревновались не за отметки или проценты, а за честь написать письмо папанинцам или именоваться «чкаловским», за право побывать на открытии нового цеха завода или выделить делегацию для встречи испанских детей.

Я попал однажды в такую делегацию, потому что победил на стометровке, а Искра — как круглая отличница и общественница. Мы принесли с этой встречи ненависть к фашизму, переполненные сердца и по четыре апельсина. И торжественно съели эти апельсины всем классом: каждому досталось по полторы дольки и немножко кожуры. И я сегодня помню особый запах этих апельсинов.

И еще я помню, как горевал, что не смогу помочь челюскинцам, потому что мой самолет совершил вынужденную посадку где то в Якутии, гак и не долетев до ледового лагеря. Самую настоящую посадку: я получил «плохо», не выучив стихотворения. Потом то я его выучил: «Да, были люди в наше время…» А дело заключалось в том, что на стене класса висела огромная самодельная карта и каждый ученик имел свой собственный самолет. Отличная оценка давала пятьсот километров, но я получил «плохо», и мой самолет был снят с полета. И «плохо» было не просто в школьном журнале: плохо было мне самому и немного — чуть чуть! — челюскинцам, которых я так подвел.

А карту выдумала Искра.

Улыбнись мне, товарищ. Я забыл, как ты улыбался, извини. Я теперь намного старше тебя, у меня масса дел, я оброс хлопотами. как корабль ракушками. По ночам я все чаще и чаще слышу всхлипы собственного сердца: оно уморилось. Устало болеть.

Я стал седым, и мне порой уступают место в общественном транспорте. Уступают юноши ч девушки, очень похожие на вас, ребята. И тогда я думаю, что не дай им Бог повторить вашу судьбу. А если это все же случится, то дай им Бог стать такими же.

Между вами, вчерашними, и ими, сегодняшними, лежит не просто поколение. Мы твердо знали, что будет война, а они убеждены, что ее не будет. И это прекрасно: они свободнее нас. Жаль только, что свобода эта порой оборачивается безмятежностью…

В девятом классе Валентина Андроновна предложила нам тему свободного сочинения «Кем я хочу стать?». И все ребята написали, что они хотят стать командирами Красной Армия. Даже Вовик Храмов пожелал быть танкистом, чем вызвал бурю восторга. Да, мы искренне хотели, чтобы судьба наша была суровой. Мы сами избирали ее, мечтая об армии, авиации и флоте: мы считали себя мужчинами, а более мужских профессий тогда не существовало.

В этом смысле мне повезло. Я догнал в росте своего отца уже в восьмом классе, а поскольку он был кадровым командиром Красной Армии, то его старая форма перешла ко мне. Гимнастерка и галифе, сапоги и командирский ремень, шинель и буденовка из темно серого сукна. Я надел эти прекрасные вещи в один замечательный день и не снимал их целых пятнадцать лет. Пока не демобилизовался. Форма тогда уже была иной, но содержание ее не изменилось: она по прежнему осталась одеждой моего поколения. Самой красивой и самой модной.

Мне люто завидовали все ребята. И даже Искра Полякова.

— Конечно, она мне немного велика, — сказала Искра, примерив мою гимнастерку. — Но до чего же в ней уютно. Особенно, если потуже затянуться ремнем.

Я часто вспоминаю эти слова, потому что в них — ощущение времени. Мы все стремились затянуться потуже, точно каждое мгновение нас ожидал строй, точно от одного нашего вида зависела готовность этого общего строя к боям и победам. Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, сполохи которого еще долго светят грядущим поколениям. Мы не знали, но это знали наши отцы и матери, прошедшие яростный огонь революции.

Кажется, ни у кого из нас не было в доме ванной. Впрочем, нет, одна квартира была с ванной, но об этом после. Мы ходили в баню обычно втроем: я, Валька и Пашка. Пашка драил наши спины отчаянно жесткой мочалкой, а потом долго блаженствовал в парной. Он требовал невыносимого жара, мы с Валькой поддавали этот жар. но сами сидели внизу. А Пашка издевался над нами с самой верхней полки.

— Здравствуйте, молодежь.

Как то в парную, стыдливо прикрываясь шайкой, бочком проскользнул Андрей Иванович Коваленко отец Зиночки. В голом виде он был еще мельче, еще неказистее.

— Жарковато у вас.

— Да разве это жар? презрительно заорал сверху Пашка. Это же субтропики! Это же Анапа сплошная! А ну, Валька, поддай еще!

— Борькина очередь, — объявил Валька. — Борька, поддай.

— Стоит ли? — робко спросил Коваленко.

— Стоит! — отрезал я. — Пар костей не ломит.

— Это кому как, тихо улыбнулся Андрей Иванович.

И тут я шарахнул полную шайку на каменку. Пар взорвался с треском. Пашка восторженно взвыл, а Коваленко вздохнул. Постоял немного, подумал, взял свою шайку, повернулся и вышел.

Повернулся…

Я и сейчас помню эту исколотую штыками, исполосованную ножами и шашками спину в сплошных узловатых шрамах. Там не было живого места — все занимал этот сине багровый автограф гражданской войны.

А вот мать Искры вышла из той же гражданской иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Такие же, как на спине у отца Зиночки.

Мать Искры — я забыл, как ее звали, и теперь уже никто не напомнит мне этого — часто выступала в школах, техникумах, в колхозах и на заводах. Говорила резко и коротко, точно командуя, и мы ее побаивались.

— Революция продолжается, запомните. И будет продолжаться, пока мы не сломим сопротивление классовых врагов. Готовьтесь к борьбе. Суровой и беспощадной.

А может, все это мне только кажется? Я старею, с каждым днем все дальше отступая от того времени, и уже не сама действительность, а лишь представление о ней сегодня властвует надо мной. Может быть, но я хочу избежать того, что диктует мне возраст. Я хочу вернуться в те дни, стать молодым и наивным…

Глава первая

— Ясненько ясненько прекрасненько! — прокричала Зиночка, не дослушав материнских наставлений.

Она торопилась закрыть дверь и накинуть крючок, а мать, как всегда, застряла на пороге с последними указаниями. Постирать, погладить, почистить, прокипятить, подмести. Ужас сколько всего она придумывала каждый раз, когда уходила на работу. Обычно Зиночка терпеливо выслушивала ее, но именно сегодня мама непозволительно медлила, а идея, возникшая в Зиночкиной голове, требовала действия, поскольку была неожиданной и, как подозревала Зина, почти преступной.

Сегодня утром во сне Зиночка увидела себя на берегу речки. Этим летом она впервые поехала в лагерь не обычной девочкой, а помощником вожатой, переполненная ощущением ответственности. Она все лето так строго сдвигала колючие бровки, что на переносице осталась белая вертикальная складочка. И Зиночка очень гордилась ею.

Но увидела она себя не с пионерами, ради которых и приходилось сдвигать брови, а со взрослыми: с вожатыми отрядов, преподавателями и другими начальниками. Они загорали на песке, а Зиночка еще плескалась, потому что очень любила барахтаться на мелководье. Потом на нес прикрикнули, и Зиночка пошла к берегу, так как еще не разучилась слушаться старших.

Уже выходя на берег, она почувствовала взгляд: пристальный, оценивающий, мужской. Зиночка смутилась, крепко прижала руки к мокрой груди и постаралась поскорее упасть на песок. А в сладком полусне ей представилось, что там, на берегу, она была без купальника. Сердце на мгновение екнуло. но глаз Зиночка так и не открыла, потому что страх не был пугающим. Это был какой то иной страх, на который хотелось посмотреть. И она торопила маму, пугаясь не страха, а решения заглянуть в него. Решения, которое боролось в ней со стыдом, и Зиночка еще не была уверена, кто кого переборет.

Накинув крючок на входную дверь, Зиночка бросилась в комнату и первым делом старательно задернула занавески. А потом в лихорадочной спешке стала срывать с себя одежду, кидая ее куда попало: халатик, рубашку, лифчик, трусики… Она лишь взялась за них, оттянула резинку и тут же отпустила — резинка туго щелкнула по смуглому животу, и Зиночка опомнилась. Постояла, ожидая, когда уймется застучавшее сердце, и тихонечко пошла к большому маминому зеркалу. Она приближалась к нему как к бездне: чувствуя каждый шаг и не решаясь взглянуть. И, только оказавшись перед зеркалом, подняла глаза.

В свинцовом зеркальном холодке отразилась смуглая маленькая девушка с круглыми от преступного любопытства, блестящими, как вишенки, глазами. Вся она казалась шоколадной, и лишь не по росточку крупная грудь да полоски от бретелек были неправдоподобно белыми, словно не принадлежавшими этому телу. Зиночка впервые сознательно разглядывала себя как бы со стороны, любовалась и одновременно пугалась того, что казалось ей уже созревшим. Но созревшей была только грудь, а бедра никак не хотели наливаться, и Зиночка сердито похлопала по ним руками. Однако бедра еще можно было терпеть: все таки они хоть чуточку да раздались за лето, и талия уже образовалась. А вот ноги огорчали всерьез: они сбегали каким то коку сом, несоразмерно утончаясь к щиколоткам. И икры еще были плоскими, и коленки еще не округлились и торчали, как у девчонки пятиклашки. Все выглядело просто отвратительно, и Зиночка с беспокойством подозревала, что природа ей тут не поможет. И вообще все счастливые девочки жили в прошлом веке, потому что тогда носили длинные платья.

Зиночка осторожно приподняла грудь, словно взвешивая: да, это уже было взрослым, полным будущих ожиданий. Значит. такая она будет — кругленькая, тугая, упругая. Конечно, хорошо бы еще подрасти, хоть немного; Зина вытянулась на цыпочках, прикидывая, какой она станет, когда наконец подрастет, и, в общем, осталась довольна. «Подождите, вы еще не так будете на меня смотреть!» — самодовольно подумала она и потанцевала перед зеркалом, мысленно напевая модное «Утомленное солнце».

И тут ворвался звонок. Он ворвался так неожиданно, что Зиночка сначала ринулась к дверям, как вертелась перед зеркалом. Потом метнулась назад, торопливо, кое как напялила разбросанную одежду и вернулась в прихожую, на ходу застегивая халатик.

— Кто там?

— Это я, Зиночка.

— Искра? — Зина сбросила крючок. — Знала бы, что это ты, сразу бы открыла. Я думала…

— Саша из школы ушел.

— Как ушел?

— Совсем. Ты же знаешь, у него только мама. А теперь за ученье надо платить, вот он и ушел.

— Вот ужас то! — Зина горестно вздохнула и примолкла.

Она побаивалась Искорку, хотя была почти на год старше. Очень любила ее, в меру слушалась и всегда побаивалась той напористости, с которой Искра решала все дела и за себя и за нее и вообще за всех, кто, по ее мнению, в этом нуждался.

Мама Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень, оставлявший после удара жгучие красные полосы. Про эти полосы Искра никому никогда не говорила, потому что стыд был больнее. И еще потому, что лишь она одна знала: ее резкая, крутая, несгибаемая мать была глубоко несчастной и, в сущности, одинокой женщиной. Искра очень жалела и очень любила ее.

Три года назад сделала она это страшное открытие: мама несчастна и одинока. Сделала случайно, проснувшись среди ночи и услышав глухие, стонущие рыдания. В комнате было темно, только из за шкафа, что отделял Искоркину кровать, виднелась полоска света. Искра выскользнула из под одеяла, осторожно выглянула. И обмерла. Мать, согнувшись и зажав голову руками, раскачивалась перед столом, на котором горела настольная лампа, прикрытая газетой.

— Мамочка, что случилось? Что с тобой, мамочка? Искра рванулась к матери, а мать медленно встала ей навстречу, и глаза у нее были мертвые. Потом побелела, затряслась и впервые сорвала с себя солдатский ремень.

— Подглядывать? Подслушивать?..

Такой Искра навсегда запомнила маму, а вот папу не помнила совсем: он наградил ее необыкновенным именем и исчез еще в далеком детстве. И мама сожгла в печке все фотографии с привычной беспощадностью.

— Он оказался слабым человеком, Искра. А ведь был когда то комиссаром!

Слово «комиссар» для мамы решало все. В этом понятии заключался ее символ веры, символ чести и символ ее юности. Слабость была антиподом этого вечно юного и яростного слова, и Искра презирала слабость пуще предательства.

Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который предстояло достичь. С одной, правда, поправкой: Искра очень надеялась стать более счастливой.

В классе подружек любили. Но если Зиночку просто любили и быстро прощали, то Искру не только любили, но слушали. Слушали все, но зато ничего не прощали. Искра всегда помнила об этом и немного гордилась, хотя оставаться совестью класса было порой нелегко.

Вот Искорка ни за что на свете не стала бы танцевать перед зеркалом в одних трусиках. И когда Зиночка подумала об этом, то сразу начала краснеть, пугаться, что Искра заметит ее внезапный румянец, и от этого краснела еще неудержимее. И вся эта внутренняя борьба настолько занимала ее, что она уже не слушала подругу, а только краснела.

— Что ты натворила? — вдруг строго спросила Искра.

— Я? — Зиночка изобразила крайнее удивление. — Да что ты! Я ничего не натворила.

— Не смей врать. Я прекрасно знаю, когда ты краснеешь.

— А я не знаю, когда я краснею. Я просто так краснею, вот и все. Наверное, я многокровная.

— Ты полоумная, — сердито сказала Искра. — Лучше признайся сразу, тебе же будет легче.

— А! — Зиночка безнадежно махнула рукой. — Просто я пропадушка.

— Кто ты?

— Пропадушка. Пропащий человек женского рода. Неужели не понятно?

— Болтушка, — улыбнулась Искра. — Разве можно с тобой серьезно разговаривать?

Зиночка знала, чем отвести подозрения. Правда, «знать» глагол, трудно применимый к Зине, здесь лучше подходил глагол «чувствовать». Так вот, Зиночка чувствовала, когда и как смягчить суровую подозрительность подруги. И действовала хотя и интуитивно, но почти всегда безошибочно.

— Представляешь, Саша — с его то способностями! — не закончит школу. Ты соображаешь, какая это потеря для всех нас, а может быть, даже для всей страны! Он же мог стать конструктором самолетов. Ты видела, какие он делал модели?

— А почему Саша не хочет пойти в авиационную спецшколу?

— А потому что у него уши! — отрезала Искра. — Он застудил в детстве уши, и теперь его не принимает медкомиссия.

— Все то ты знаешь, — не без ехидства заметила Зиночка. И про модели, и про уши.

— Нет, не все. — Искра была выше девичьих шпилек. — Я не знаю, что нам делать с Сашей. Может, пойти в райком комсомола?

— Господи, ну при чем тут райком? — вздохнула Зиночка. Искра, тебе за лето стал тесным лифчик?

— Какой лифчик?

— Обыкновенный. Не испепеляй меня, пожалуйста, взглядом. Просто я хочу знать: все девочки растут вширь или я одна такая уродина?

Искра хотела рассердиться, но сердиться на безмятежную Зиночку было трудно. Да и вопрос, который только она могла задать, был вопросом и для Искры тоже, потому что при всем командирстве ее беспокоили те же шестнадцать лет. Но признаться в таком она не могла даже самой близкой подруге: это была слабость.

— Не тем ты интересуешься, Зинаида, — очень серьезно сказал Искра. — Совершенно не тем, чем должна интересоваться комсомолка.

— Это я сейчас комсомолка. А потом я хочу быть женщиной.

— Как не стыдно! — с гневом воскликнула подруга. — Нет, вы слыхали, ее мечта, оказывается, быть женщиной. Не летчицей, не парашютисткой, не стахановкой, наконец, а женщиной. Игрушкой в руках мужчины!

— Любимой игрушкой, улыбнулась Зиночка. Просто игрушкой я быть не согласна.

— Перестань болтать глупости! — прикрикнула Искра. — Мне противно слушать, потому что все это отвратительно. Это буржуазные пошлости, если хочешь знать.

— Ну, рано или поздно их узнать придется, — резонно заметила Зиночка. — Но ты не волнуйся, и давай лучше говорить о .Саше.

О Саше Искра согласна была говорить часами, и никому, даже самым отъявленным сплетницам, не приходило в голову, что «Искра плюс Саша равняется любовь». И не потому, что сама любовь, как явление несвоевременное. Искрой гневно отрицалась, а потому, что сам Саша был продуктом целеустремленной деятельности Искры, реально существующим доказательством ее личной силы, настойчивости и воли.

Еще год назад имя Сашки Стамескина склонялось на всех педсоветах, фигурировало во всех отчетах и глазело на мир с черной доски, установленной в вестибюле школы. Сашка воровал уголь из школьной котельной, макал девичьи косы в чернильницы и принципиально не вылезал из «оч. плохо». Дважды его собирались исключить из школы, но приходила мать, рыдала и обещала, и Сашку оставляли с директорской пометкой «до следующего замечания». Следующее замечание неукротимый

Стамескин хватал вслед за уходом матери, все повторялось и к Ноябрьским прошлогодним праздникам достигло апогея. Школа кипела, и Сашка уже считал дни, когда получит долгожданную свободу.

И тут на безмятежном Сашкином горизонте возникла Искра. Появилась она не вдруг, не с бухты барахты, а вполне продуманно и обоснованно, ибо продуманность и обоснованность были проявлением силы как антипода человеческой слабости. К Ноябрьским Искра подала заявление в комсомол, выучила Устав и все, что следовало выучить, но это было пассивным, сопутствующим фактором, это могла вызубрить любая девчонка. А Искра не желала быть «любой», она была особой и с помощью маминых внушений и маминого примера целеустремленно шла к своему идеалу. Идеалом ее была личность активная, беспокойная, общественная — та личность, которая с детства определялась гордым словом «комиссар». Это была не должность — это было призвание, долг, путеводная звездочка судьбы. И, собираясь на первое комсомольское собрание, делая первый шаг навстречу своей звезде, Искра добровольно взвалила на себя самое трудное и неблагодарное, что только могла придумать.

— Не надо выгонять из школы Сашу Стамескина, — как всегда звонко и четко, сказала она на своем первом комсомольском собрании. — Перед лицом своих товарищей по Ленинскому комсомолу я торжественно обещаю, что Стамескин станет хорошим учеником, гражданином и даже комсомольцем.

Искре аплодировали, ставили ее в пример, а Искра очень жалела, что на собрании нет мамы. Если бы она была, если бы она слышала, какие слова говорят о ее дочери, то — кто знает! может быть, она действительно перестала бы знакомым судорожным движением расстегивать широкий солдатский ремень и кричать при этом коротко и зло, будто отстреливаясь:

— Лечь! Юбку на голову! Живо!

Правда, в последний раз это случилось два года назад, к самом начале седьмого класса. Искру тогда так мучительно долго трясло, что мама отпаивала ее водой и даже просила прощения.

— Ненормальная! — кричала после собрания Зиночка. Нашла кого перевоспитывать! Да он же поколотит тебя. Или… Или знаешь, что может сделать? То, что сделали с той девочкой. в парке, про которую писали в газетах?

Искра гордо улыбалась, снисходительно выслушивая Зиночкины запугивания. Она отлично знала, что делала: она испытывала себя. Это было первое, робкое испытание ее личных «комсомольских» качеств.

На другой день Стамескин в школу не явился, и Искра после уроков пошла к нему домой. Зиночка мужественно вызвалась сопровождать, но Искра пресекла этот порыв:

— Я обещала комсомольскому собранию, что сама справлюсь со Стамескиным. Понимаешь, сама!

Она шла по длинному, темному, пронзительно пропахшему кошками коридору, и сердце ее сжималось от страха. Но она ни на мгновение не допустила мысли, что можно повернуться и уйти, сказав, будто никого не застала дома. Она не умела лгать, даже себе самой.

Стамескин рисовал самолеты. Немыслимые, сказочно гордые самолеты, свечой взмывающие в безоблачное небо. Рисунками был усеян весь стол, а то, что не умещалось, лежало на узкой железной койке. Когда Искра вошла в крохотную комнату с единственным окном, Саша ревниво прикрыл свои работы, но всего прикрыть не мог и разозлился.

— Чего приперлась?

С чисто женской быстротой Искра оценила обстановку: грязная посуда на табуретке, смятая, заваленная рисунками кровать, кастрюлька на подоконнике, из которой торчала ложка, все свидетельствовало о том, что Сашкина мать во второй смене и что первое свидание с подшефным состоится с глазу на глаз. Но она не позволила себе струсить и сразу ринулась в атаку на самое слабое Сашкино место, о котором в школе никто не догадывался: на его романтическую влюбленность в авиацию.

— Таких самолетов не бывает.

— Что ты понимаешь! — закричал Сашка, но в тоне его явно послышалась заинтересованность.

Искра невозмутимо сняла шапочку и пальтишко — оно было тесновато, пуговки сдвинуты к самому краю, и это всегда смущало ее — и, привычно оправив платье, пошла прямо к столу. Сашка следил на нею исподлобья, недоверчиво и сердито. Но Искра не желала замечать его взглядов.

— Интересная конструкция, — сказала она. — Но самолет не взлетит.

— Почему это не взлетит? А если взлетит?

— «Если» в авиации понятие запрещенное, строго произнесла она. — В авиации главное расчет. У тебя явно мала подъемная сила.

— Что? — настороженно переспросил отстающий Стамескин.

— Подъемная сила крыла, твердо повторила Искра, хотя была совсем не. уверена в том, что говорила. Ты знаешь, отчего она зависит?

Сашка молчал, подавленный эрудицией. До сих пор авиация существовала в его жизни, как существуют птицы: летают, потому что должны летать. Он придумывал свои самолеты, исходя из эстетики, а не из математики: ему нравились формы. которые сами рвались в небо.

Все началось с самолетов, которые не могли взлетать, потому чю опирались на фантазии, а не на науку. А Сашка хотел, чтобы они летали, чтобы «горки», «бочки» и «иммельманы» были покорны его самолетам, как его собственное тело было покорно ему, Сашке Стамескину, футболисту и драчуну. А для этого требовался сущий пустяк — расчет, И за этим пустяком Сашка нехотя, криво усмехаясь, пошел в школу.

Но Искре было мало, что Сашка возлюбил математику с физикой, терпел литературу, мыкался на истории и с видимым отвращением зубрил немецкие слова. Она была трезвой девочкой и ясно представляла срок, когда ее подопечному все надоест и Стамескин вернется в подворотни, к подозрительным компаниям и привычным «оч. плохо». И, не ожидая, пока это наступит, отправилась в районный Дворец пионеров.

— Отстающих не беру, — сказал ей строгий, в очках, руководитель авиамодельного кружка. — Вот пусть сперва…

— Он не простой отстающий, — перебила Искра, хотя перебивать старших было очень невежливо. Думаете, из одних отличников получаются хорошие люди? А Том Сойер? Так вот. Саша — Том Сойер, правда, он еще не нашел своего клада. Но он найдет его, честное комсомольское, найдет! Только чуть чуть помогите ему. Пожалуйста, помогите человеку.

— А знаешь, девочка, мне сдается, что он уже нашел свой клад, — улыбнулся руководитель кружка.

Однако Сашка поначалу наотрез отказался идти в заветный авиамодельный кружок. Он боялся, как бы там ему в два счета не доказали, что все его мечты — пустой звук и что он, Сашка Стамескин, сын судомойки, с фабрики кухни и неизвестного отца, никогда в жизни своей не прикоснется к серебристому дюралю настоящего самолета. Попросту говоря, Сашка не верил в собственные возможности и отчаянно трусил, к Искре пришлось потопать толстыми ножками.

— Ладно, — обреченно вздохнул он. — Только с тобой. А те сбегу.

И они пошли вместе, хотя Искру интересовали совсем не самолеты, а звучный Эдуард Багрицкий. И не просто интересовал Искра недавно сама начала писать поэму «Дума про комиссара»: «Над рядами полыхает багряное знамя. Комиссары, комиссары, вся страна — за вами!..» Ну и так далее, еще две страницы, а хотелось, чтоб получилось страниц двадцать. Но сейчас главным было авиамоделирование, элероны, фюзеляжи и не вполне понятные подъемные силы. И она не сожалела об отложенной поэме, а гордилась, что наступает на горло собственной песне.

Вот об этом то, о необходимости подчинения мелких личных слабостей главной цели, о радости преодоления и говорила Искра, когда они шли во Дворец пионеров. И Сашка молчал, терзаемый сомнениями, надеждами и снова сомнениями.

— Человек не может рождаться на свет просто так, ради удовольствий, — втолковывала Искра, подразумевая под словом «удовольствия» время будущее, а не прошедшее. — Иначе мы должны будем признать, что природа — просто какая то свалка случайностей, которые не поддаются научному анализу. А признать это — значит, пойти на поводу у природы, стать ее покорными слугами. Можем мы, советская молодежь, это признать? Я тебя спрашиваю, Саша.

— Не можем, — уныло сказал Стамескин.

— Правильно. А это означает, что каждый человек понимаешь, каждый! — рождается для какой то определенной цели. И нужно искать свою цель, свое призвание. Нужно научиться отбрасывать все случайное, второстепенное, нужно определить главную задачу жизни…

— Эй, Стамеска!

От подворотни отклеилось трое мальчишек; впрочем, одного можно было бы уже назвать парнем. Двигались они лениво, враскачку, загребая ногами.

— Куда топаешь, Стамеска?

— По делу. — Сашка весь съежился, и Искра мгновенно уловила это.

— Может, подумаешь сперва? — Старший говорил как то нехотя, будто с трудом отыскивая слова. — Отшей девчонку, разговор есть.

— Назад! — звонко выкрикнула Искра. — Сами катитесь в свои подворотни!

— Что такое? — насмешливо протянул парень.

— Прочь с дороги! — Искра обеими руками толкнула парня в грудь.

От толчка парень лишь чуть покачнулся, но тут же отступил в сторону. Искра схватила растерянного Стамескина за руку и потащила за собой.

— Ну, гляди, бомбовоз! Попадешься нам — наплачешься!

— Не оглядывайся! — прикрикнула Искра, волоча Стамескина. — Они все трусы несчастные.

— Знала бы ты, — вздохнул Сашка.

— Знаю! — отрезала она. — Смел только тот, у кого правда. А у кого нет правды, тот просто нахален, вот и все.

Несмотря на победу, Искра была в большом,огорчении. Она каждый день, по строгой системе делала зарядку, с упоением играла в баскетбол, очень любила бегать, но пуговки на кофточках приходилось расставлять все чаще, платья трещали по всем швам, а юбки из года в год наливались такой полнотой, что Искра впадала в отчаяние. И глупое словечко «бомбовоз» — да еще сказанное при Сашке! — было для нее во сто крат обиднее любого ругательства.

Сашка враз влюбился и в строгого руководителя, и в легкокрылые планеры, и в само название «авиамодельный кружок». Искра рассчитала точно: теперь Сашке было что терять, и он цеплялся за школу с упорством утопающего. Наступил второй этап, и Искра каждый день ходила к Стамескину не просто делать уроки, но и учить то, что утерялось во дни безмятежной Сашкиной свободы. Это было уже, так сказать, сверх обещанного, сверх программы: Искра последовательно лепила из Сашки Стамескина умозрительно сочиненный идеал.

Через полмесяца после встречи с прежними Сашкиными друзьями Искра вновь столкнулась с ними — уже без Саши, без поддержки и помощи и даже не на улице, где, в конце концов, можно было бы просто заорать, хотя Искра скорее умерла бы, чем позвала на помощь. Она вбежала в темный и гулко пустой подъезд, когда ее вдруг схватили, стиснули, поволокли под лестницу и швырнули на заплеванный цементный пол. Это было так внезапно, стремительно, и беззвучно, что Искра успела только скорчиться, согнуться дугой, прижав коленки к груди. Сердечко ее замерло, а спина напряглась в ожидании ударов. Но ее почему то не били, а мяли, тискали, толкали, сопя и мешая друг другу. Чьи то руки стащили шапочку, тянули за косы, стараясь оторвать лицо от коленок, кто то грубо лез под юбку, щипая за бедра, кто то протискивался за пазуху. И все это вертелось, сталкивалось, громко дышало, пыхтело, спешило…

Нет, ее совсем не собирались бить, ее намеревались просто ощупать, обмять, обтискать, «полапать», как это называлось у мальчишек. И когда Искра это сообразила, страх ее мгновенно улетучился, а гнев был столь яростен, что она задохнулась от этого гнева. Вонзилась руками в чью то руку, ногами отбросила того, что лез под юбку, сумела вскочить и через три ступеньки взлететь по лестнице в длинный Сашкин коридор.

Она ворвалась в комнату без стука: красная, растрепанная, в пальтишке с выдранными пуговицами, все еще двумя руками прижимая к груди сумку с учебниками. Ворвалась, закрыла дверь и привалилась к ней спиной, чувствуя, что вот вот, еще мгновение — и рухнет на пол от безостановочной дрожи в коленках.

Сашкина мать, унылая и худая, жарила картошку на керосинке, а сам Сашка сидел за столом и честно пытался решить задачу. Они молча уставились на Искру, а Искра, старательно улыбаясь, пояснила:

— Меня задержали. Там, внизу. Извините, пожалуйста. Всем телом оттолкнулась от двери; сделала два шага и рухнула на табурет, отчаянно заплакав от страха, обиды и унижения.

— Да что вы, Искра? — Сашкина мама из уважения обращалась к ней, как ко взрослой. — Да господи, что сделали то с вами?

— Шапочку стащили, — жалко и растерянно бормотала Искра, упорно улыбаясь и размазывая слезы по крутым щекам. — Мама расстроится, заругает меня за шапочку.

— Да как же это, господи? — плачуще выкрикнула женщина. — Водички выпейте, Искра, водички.

Сашка вылез из за стола, молча отодвинул суетившуюся мать и вышел.

Вернулся он через полчаса. Положил перед Искрой ее голубую вязаную шапочку, выплюнул в таз вместе с кровью два передних зуба, долго мыл разбитое лицо. Искра уже не плакала, а испуганно следила за ним; он встретил ее взгляд, с трудом улыбнулся:

— Будем заниматься, что ли?

С того дня они всюду ходили вдвоем. В школу и на каток, в кино и на концерты, в читальню и просто так. По улицам. Только вдвоем. Но ни у кого и мысли не возникало позубоскалить на этот счет. Все в школе знали, как Искра умела дружить, но никто, ни один человек — даже Сашка — не знал, как она умела любить. Впрочем, и сама Искра тоже не знала. Все пока называлось дружбой, и ей вполне хватало того, что содержалось в этом слове.

А теперь Сашка Стамескин, положивший столько сил и упорства, чтобы поверить в реальность собственной мечты, догнавший, а кое в чем и перегнавший многих из класса, расставался со школой. И это было не просто несправедливостью — это было крушением всех Искриных надежд. Осознанных и еще не осознанных.

— Может быть, мы соберем ему эти деньги?

— Вот ты — то умная умная, а то — дура дурой! — Зина всплеснула руками. — Собрать деньги — это ты подумала. А вот возьмет ли он их?

— Возьмет, — не задумываясь, сказала Искра.

— Да, потому что ты заставишь. Ты даже меня можешь заставить съесть пенки от молока, хотя я наверняка знаю, что умру от этих пенок. — Зиночка с отвращением передернула плечами. — Это же милостынька какая то, и поэтому ты дура. Дура, вот и все. В смысле неумная женщина.

Искра не любила слово «женщина», и Зиночка сейчас слегка поддразнивала ее. Ситуация была редкой: Искра не знала выхода. А Зина нашла выход и поэтому тихонечко торжествовала. Но долго торжествовать не могла. Она была порывистой и щедрой и всегда выкладывала все, что было на душе.

— Ему нужно устроиться на авиационный завод!

— Ему нужно учиться, — неуверенно сказала Искра. Но сопротивлялась она уже по инерции, по привычному ощущению, что до сих пор была всегда и во всем права. Решение звонкой подружки оказалось таким простым, что спорить было невозможно. Учиться? Он будет учиться в вечерней школе. Кружок? Смешно: там завод, там не играют в модели, там строят настоящие самолеты, прекрасные, лучшие в мире самолеты, не раз ставившие невероятные рекорды дальности, высоты и скорости. Но сдаться сразу Искра не могла, потому что решение — то решение, при известии о котором Сашины глаза вновь вспыхнут огоньком, — на этот раз принадлежало не ей.

— Думаешь, это так просто? Это совершенно секретный завод, и туда принимают только очень проверенных людей.

— Сашка шпион?

— Глупая, там же анкеты. А что он напишет в графе «отец»? Что? Даже его собственная мама не знает, кто его отец.

— Что ты говоришь? — В глазах у Зиночки вспыхнуло преступное любопытство.

— Нет, знает, конечно, но не говорит. И Саша напишет в анкете — «не знаю», а там что могут подумать, представляешь?

— Ну, что? Что там могут подумать?

— Что этот отец — враг народа, вот что могут подумать.

— Это Стамескин — враг народа? — Зина весело рассмеялась. — Где это, интересно, ты встречала врагов народа по фамилии Стамескин?

Тут Искре пришлось замолчать. Но, сдав и этот пункт, она по прежнему уверяла, что устроиться на авиазавод будет очень трудно. Она нарочно пугала, ибо в запасе у нее уже имелся выход: райком комсомола. Всемогущий райком комсомола. И выход этот должен был компенсировать тот укол самолюбию, который нанесла Зина своим предложением.

Но Зиночка мыслила конкретно и беспланово, опираясь лишь на интуицию. И эта природная интуиция мгновенно подсказала ей решение:

— А Вика Люберецкая?

Папа Вики Люберецкой был главным инженером авиационного завода. А сама Вика восемь лет просидела с Зиночкой за одной партой. Правда, Искра сторонилась Вики. И потому, что Вика тоже была круглой отличницей, и потому, что немного ревновала ее к Зиночке, и, главное, потому, что Вика держалась всегда чуть покровительственно со всеми девочками и надменно со всеми мальчишками, точно вдовствующая королева. Только Вику подвозила служебная машина; правда, останавливалась она не у школы, а за квартал, и дальше Вика шла пешком, но все равно об этом знали все. Только Вика могла продемонстрировать девочкам шелковое белье из Парижа — предмет мучительной зависти Зиночки и горделивого презрения Искры. Только у Вики была шубка из настоящей сибирской белки, швейцарские часы со светящимся циферблатом и вечная ручка с золотым пером. И все это вместе определяло Вику как существо из другого мира, к которому Искра с детства питала ироническое сожаление.

Они соперничали даже в прическах. И если Искра упорно носила две косячки за ушами, а Зина — короткую стрижку, как большинство девочек их класса, то у Вики была самая настоящая прическа, какую делают в парикмахерских.

И еще Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен: он словно проникал сквозь собеседника в какую то видимую только Вике даль, и даль эта была прекрасна, потому что Вика всегда ей улыбалась.

У Искры и Зины были разные точки зрения на красоту. Искра признавала красоту, запечатленную раз и навсегда на полотнах, в книгах, в музыке или в скульптуре, а от жизни требовала лишь красоту души, подразумевая, что всякая иная красота сама по себе уже подозрительна. Зиночка же поклонялась красоте, как таковой, завидовала этой красоте до слез и служила ей как святыне. Красота была для нее божеством, живым и всемогущим. А красота для Искры была лишь результатом, торжеством ума и таланта, очередным доказательством победы воли и разума над непостоянным и слабым человеческим естеством. И поэтому просить о чем либо Вику Искра не могла.

— Я сама попрошу! — горячо заверяла Зина. — Вика золотая девчонка, честное комсомольское!

— У тебя все золотые.

— Ну хоть раз, хоть разочек доверь мне. Хоть единственный, Искорка!

— Хорошо. — милостиво согласилась Искра после некоторого колебания, Но не откладывать. Первое сентября послезавтра.

— Вот спасибо! — засмеялась Зина. — Увидишь сама, как замечательно все получится. Дай я тебя поцелую за это.

— Не можешь ты без глупостей, — со вздохом сказала Искря, подставляя тем не менее тугую щеку подруге. Я — к Саше, как бы он чего нибудь от растерянности не наделал.

Первого сентября черная «эмка» притормозила за квартал до школы. Вика выпорхнула из нее, дошла до школьных ворот и, как всегда, никого не замечая, направилась прямо к Искре.

— Здравствуй. Кажется, ты хотела, чтобы Стамескин работал у папы на авиационном заводе? Можешь ему передать: пусть завтра приходит в отдел кадров.

— Спасибо, Вика, — сказала Искра, изо всех сил стараясь не обращать внимания на ее торжественную надменность.

Но настроение было испорчено, и в класс она вошла совсем не такой сияющей, какой полчаса назад вбежала на школьный двор.

Глава вторая

Летом Артем устроился разнорабочим: копал канавы под водопровод, обмазывал трубы, помогал слесарям. Он не чурался никакого труда, одинаково весело спешил и за гаечным ключом и за пачкой «Беломора», держал, где просили, долбил, где приказывали, но принципов своих не нарушал. И с самого начала поставил в известность бригаду:

— Только я, это… Не курю. Вот. Лучше не предлагайте.

— Чахотка, что ли? участливо спросил старший.

— Спортом занимаюсь. Это. Легкая атлетика. Говорил Артем всегда скверно и хмуро стеснялся. Ему мучительно не хватало слов, и спасительное «это» звучало в его речах чаще всего остального. Тут была какая то странность, потому что читал Артем много и жадно, письменные писал не хуже других, а с устным выходила одна неприятность. И поэтому Артем еще с четвертого класса преданно возлюбил науки точные и люто возненавидел все предметы, где надо много говорить. Приглашение его к доске всегда вызывало приступ веселья в классе. Остряки изощрялись в подсказках, зануды подсчитывали, сколько раз прозвучало «это», а самолюбивый Артем страдал не только морально, но и физически, до натуральной боли в животе.

— Ну, я же с тобой нормально говорю? — жаловался он лучшему другу Жорке Ландысу. — И ничего у меня не болит, и пот не прошибает, и про этого… про Рахметова могу рассказать. А в классе не могу.

— Ну, еще бы. Ты у доски помираешь, а она гляделки пялит.

— Кто она? Кто она? сердился Артем. Ты, это… Знаешь, кончай эти штучки.

Но она была. Она появилась в конце пятого класса, когда в стеклах плавилось солнце, орали воробьи, а хмурый Григорий Андреевич — классный руководитель, имеющий скверную привычку по всем поводам вызывать родителей, — принес микроскоп.

Собственно, она существовала и раньше. Существовала где то впереди, в противном мире девчонок и отличников, и Артем ее не видел. Не видел самым естественным образом, будто взгляд его проходил сквозь все ее косички и бантики. И ему жилось хорошо, и ей, наверное, тоже.

До конца мая в пятом классе. До того дня, когда Григ принес микроскоп и забыл предметные стекла.

— Не трогать, — сказал он и ушел.

А Артем остался у доски, поскольку был дежурным и не получил разрешения сесть на место. Григ задерживался, класс развлекался, как мог, и скоро с «Камчатки» к доске стала летать пустая сумка тихого отличника Вовика Храмова. Вовик не протестовал, увлеченный берроузовским «Тарзаном», сумку швыряли через весь класс, Артем картинно ловил ее и кидал обратно. И так шло до поры, пока он не сплоховал, и не угодил сумкой в микроскоп.

Григ вошел, когда микроскоп грохнулся на пол. Класс замер, «Камчатка» пригнулась к партам, отличники съежились, а остальное население в бесстрашном любопытстве вытянуло шеи. Пауза была длинной; Григ поднял микроскоп, и в нем что то зазвенело, как в пустой бутылке.

— Кто? — шепотом спросил Григ.

Если б он закричал, все было бы проще, но тогда Артем так бы и не узнал, кто такая она. Но Григ спросил тем самым шепотом, от которого в жилах пятиклассников вся кровь свернулась в трусливый комочек.

— Кто это сделал?

— Я! — звонко сказала Зиночка. — Честное пречестное, но не нарочно.

Именно в тот миг Артем понял, что она — это Зина Коваленко. Понял сразу и на всю жизнь. Это было великое открытие, и Артем свято хранил его в тайне. Это было нечто чрезвычайно серьезное и радостное, но радость Артем не спешил реализовать ни сегодня, ни завтра, ни вообще в обозримые времена. Он знал теперь, что радость эта существует, и твердо был убежден, что она найдет его, нужно лишь терпеливо ждать.

Артем был младшим: два брата уже слесарили, а Роза самая красивая и самая непутевая — как раз в это лето ушла из отчего дома. Артем в тот день собирался па работу: он только что устроился копать канавы и очень важничал. Отец с братьями уже ушли на завод, мать кормила Артема на кухне; Артем считал, что он один на один с мамой, и капризничал:

— Мам. я не хочу с маслом. Мам, я хочу с сахаром. И тут вошла Роза. Взъерошенная, невыспавшаяся, в детском халатике, из которого давно уже торчали обе коленки, локти и клочок живота. Она была всего на три года старше Артема, училась в строительном техникуме, носила челку и туфли на высоком каблуке, и Артем был чуточку влюблен в жгучее сочетание черных волос, красных губ и белых улыбок. А тут никаких улыбок не было, а была какая то невыспавшаяся косматость.

— Роза, где ты была ночью? — тихо спросила мама. Роза выразительно повела насильно втиснутым в старенький халатик плечом.

— Роза, здесь мальчик, а то бы я спросила не так, — опять сказала мама и вздохнула. Тебя один раз нахлестал по щекам отец, и тебе это, кажется, не понравилось.

— Оставьте вы меня! — вдруг выкрикнула Роза. — Хватит, хватит и хватит!

Мама спокойно и внимательно посмотрела на нее, долила чайник, поставила на примус и еще раз посмотрела. Потом заговорила:

— Я сажала тебя на горшочек и чинила твои чулочки. Неужели же сейчас мне нельзя сказать всей правды?

— А мне надоело, вот и все! — громко, но все же потише, чем прежде, заявила Роза. — Я люблю парня, и он меня любит, и мы распишемся. И если надо уйти из дома, то я уйду из дома, но мы все равно распишемся, вот и все.

Так Артем узнал о любви, из за которой бегут из родного дома. И любовь эта была не в бальном наряде, а в стареньком халатике, выпирала из него бедрами, плечами, грудью, и халатик трещал по всем швам. А в том, что это любовь, у Артема не было никаких сомнений, поскольку уйти из дома от сурового, но такого справедливого отца и от мамы, добрее и мудрее которой вообще не могло быть, уйти из этого дома можно было только из за безумной любви. И гордился, что любовь эта нашла Розу, к немного беспокоился, что его то она как раз обойдет стороной.

Отец категорически запретил упоминать имя дочери в своем доме. Он был суров и никогда не изменял даже нечаянно сорвавшемуся слову. Все молчаливо согласились с изгнанием блудной дочери, но через неделю, когда взрослые ушли на работу, мама сказала, старательно пряча глаза:

— Мальчик мой, тебе придется обмануть своего отца.

— Как обмануть? — от удивления Артем перестал жевать.

— Это большой грех, но я возьму его на свою душу, вздохнула мама. — Завтра Розочка празднует свою свадьбу с Петром, и ей будет очень горько, если рядом не окажется никого из родных. Может быть, ты сходишь к ней на полчасика, а дома скажем, что ты смотришь какое нибудь кино.

— А какое? — спросил Артем.

Мама пожала плечами. Она была в кино два раза до замужества и знала только Веру Холодную.

— «Остров сокровищ»! — объявил Артем. — Я его уже смотрел и могу рассказать, если Матвей спросит.

Матвей был ненамного старше Артема и снисходил до расспросов. Старший, Яков, до этого не унижался и звал Артема Шпендиком.

— Шпендик, тащи молоток! Не видишь, в кухонном столе гвоздь вылез, мама может оцарапаться. И мама в таких случаях говорила:

— Не надо мне никакого богатства, а дайте мне хороших детей.

На другой день Артем надел праздничную курточку, взял цветы и отправился к Розе. До нее было пять трамвайных остановок, но Артем сесть в трамвай не решился, опасаясь помять букет, и всю дорогу нес его перед собой, как свечку. И поэтому опоздал: в красном уголке общежития за разнокалиберными столами уже полно набилось чрезвычайно шумной молодежи. Оглушенный смехом и криками, Артем затоптался у входа, пытаясь за горами винегретов разглядеть Розу.

— Тимка пришел! Ребята, передайте сюда моего братишку! Артем не успел опомниться, как его схватили, подняли, в полном соответствии с просьбой пронесли вдоль столов и поставили на ноги рядом с Розой.

— Принимай подарок, Роза!

И тут только Артем увидел, что по обе стороны жениха и невесты сидят братья. Роза расцеловала его, а Яков пробурчал одобрительно:

— Молодец, Шпендик. Гляди, отцу не проболтайся. Роза прибегала по утрам, и Артем видел ее редко. А вот Петьку часто, потому что Петька заходил на их водопроводные канавы, учил Артема газовой сварке, и за лето они подружились. Петька все мог и все умел, и с ним Артему было проще, чем с братьями. Но это было летом. А к сентябрю Артем получил расчет и принес деньги маме.

— Вот. — Он выложил на стол все бумажки и всю мелочь.

— Для трудовых денег нужен хороший кошелек, сказала мама и достала специально к этому событию купленный кошелек. Положи в него свои деньги и сходи з магазин вместе с Розочкой и Петром.

— Нет, мам. Это тебе. Для хозяйства.

— У тебя будет костюм, а у меня будет удовольствие. Ты думаешь, это мало: иметь удовольствие от костюма, который сын купил на собственные деньги?

Артем для порядка поспорил, а потом положил заработок в кошелек и наутро отправился к молодым. Но в общежитии был один Петр: Роза ушла в техникум.

— Костюм — это вещь, — одобрил идею Петр. — Я знаю, какой надо: мосторговский. Или ленинградский. А еще бывает на одной пуговице, спортивный покрой называется. А может, ты на заказ хочешь? Купим материал бостон…

— А мне и в куртке хорошо, — сказал Артем. — Мне, это, шестнадцать. Дата?

— Дата, — кивнул Петр. — Хочешь, чтоб к дате?

— Хочу, это… Артем солидно помолчал. — Отметить хочу.

— Ага, — сообразил Петр. — Значит, вместо костюма?

— Вместо. А про деньги скажу, что потерял. Или стащили.

— Вот это не пойдет, — серьезно сказал Петр. — Это просто никак не годится: первая получка — и вранье? Получается, с вранья жизнь начинаешь, братишка. Так получается? Это во первых. А во вторых, мать с отцом зачем обижать? Они тоже порадоваться должны на твое рождение. Так или не так?

— Вроде так. Только, это, а ты с Розой?

— Мы тебя отдельно поздравим, — улыбнулся Петр. — А сейчас крой к маме и скажи, что меняешь костюм на день рождения.

Мама согласилась сразу, отец, поворчав, тоже, и Артем вместо магазинов, которые очень не любил, помчался к закадычному другу Жорке — советоваться, кого приглашать на первый в жизни званый вечер.

У Жорки Ландыса было два дела, которыми он занимался с удовольствием: коньки и марки, причем коньки были увлечением, а марки страстью. Он разыскивал их в бабушкиных сундуках, до унижения клянчил у знакомых, выменивал, покупал, а порой и крал, не в силах устоять перед соблазном. Он первым в классе вступил в МОПР, лично писал письма в Германию, потом в Испанию, а затем в Китай, хищно отклеивал марки и тут же сочинял новые послания. Эта активность закрепила за ним славу человека делового и оборотистого, и Артем шел к нему советоваться.

— Нужен список, — сказал Жорка. — Не весь же класс звать.

Артем был согласен и на весь, лишь бы пришла она. Жорка достал бумагу и приступил к обсуждению.

— Ты, я, Валька Александров, Пашка Остапчук… С мужской половиной они покончили быстро. Затем Жорка отложил ручку и выбрался из за стола:

— Девчонок пиши сам.

— Нет, нет, зачем это? — Артем испугался. — У тебя почерк лучше.

— Это точно, — с удовольствием отметил Ландыс. — Знаешь, куда я письмо накатал? В Лигу Наций насчет детского вопроса. Может, ответят? Представляешь, марочка придет!

— Вот и давай, — сказал Артем. — С кого начнем?

— Задача! рассмеялся Жорка. Лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко.

— Искру. — Артем сосредоточенно хмурился. — Ну, кого еще? Еще Лену Бокову, она с Пашкой дружит. Еще…

— Еще Сашку Стамескина, — перебил Жорка. — Из за него Искра надуется, а без Искры…

— Без Искры нельзя, — вздохнул Артем.

Оба не любили Сашку: он был из другой компании, с которой не раз случались серьезные столкновения. Но без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.

— Пиши Стамескина, — махнул рукой Артем. — Он теперь рабочий класс, может, не так задается.

— И Вику Люберецкую, — твердо сказал Жорка. Артем улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной мечтой. Голубой, как ответ из Лиги Наций.

День рождения решено было отмечать в третье воскресенье сентября. Они еще не совсем привыкли к слову «воскресенье» и написали «в третий общевыходной», но почта сработала быстрее, чем рассчитывал Артем: в среду к нему подошла Искра и строго спросила:

— Эта открытка не розыгрыш?

— Ну, зачем? — Артем недовольно засопел. — Я, это… Шестнадцать лет.

— А почему не твой почерк? — допытывалась дотошная Искра.

— Жорка писал. Я — как курица лапой, сама знаешь.

— У нашей Искры недоверчивость прокурора сочетается с прозорливостью Шерлока Холмса, — громко сказала Вика. Спасибо, Артем, я обязательно приду.

Артема немного беспокоило, как поведут себя братья в их школьной компании, но оказалось, что как раз в этот день и у Якова и у Матвея возникли неотложные дела. Они утром поздравили младшего и отбыли за час до прихода гостей, предварительно перетащив в одну комнату все столы, стулья и скамейки.

— К одиннадцати вернемся. Счастливо гулять, Шпендик! Братья ушли, а мать и отец остались. Они сидели во главе стола: мама наливала девочкам ситро и угощала их пирогами. Мальчики пили мамину наливку, а отец водку. Он выпил две рюмки и ушел, и осталась одна мама, но осталась так, что всем казалось, будто она тоже ушла.

— Мировые у тебя старики, — сказал Валька Александров, на редкость общительный парень, очень не любивший ссор и быстро наловчившийся улаживать конфликты. У меня только и слышишь: «Валька, ты что там делаешь?»

— За тобой, Эдисон, глаз нужен, — улыбнулся лучший спортсмен школы Пашка Остапчук. А то ты такое изобретешь…

Вальку прозвали Эдисоном за тихую страсть к усовершенствованию. Он изобретал вечные перья, велосипеды на четырех колесах и примус, который можно было бы накачивать ногой. Последнее открытие вызвало небольшой домашний пожар, и Валин отец пришел в школу просить, чтобы дирекция пресекла изобретательскую деятельность сына.

— Эдисон кого нибудь спалит!

— А я считаю, что человеку нельзя связывать крылья, ораторствовала Искра. — Если человек хочет изобрести полезную для страны вещь, ему необходимо помочь. А смеяться над ним просто глупо!

— Глупо по всякому поводу выступать с трибуны, — сказала Вика, и опять ее услышали, несмотря на смех, разговоры и шум.

— Нет, это не глупо! — звонко объявила Искра. — Глупо считать себя выше всех только потому, что…

— Девочки, девочки, я фокус знаю! — закричал миролюбивый изобретатель.

— Ну, договаривай, — улыбалась Вика. — Так почему же? Искра хотела выложить все про духи, белье, шубки и служебную машину, которая сегодня в десять должна была заехать за Викой. Хотела, но не решилась, потому что дело касалось некоторых девичьих тайн. И проклинала себя за слабость.

— Потому что у меня папа крупнейший руководитель? Ну и что же здесь плохого? Мне нечего стыдиться своего папы…

— Артемон! — вдруг отчаянно крикнула Зиночка: ей до боли стало жалко безотцовщину Искру. — Налей мне ситро, Артемон…

Все хохотали долго и весело, как можно хохотать только в детстве. И Зиночка хохотала громче всех, неожиданно назвав Артема именем верного пуделя, а Сашка Стамескин даже хрюкнул от восторга, и это дало новый повод для смеха. А когда отсмеялись, разговор изменился. Жорка Ландыс начал рассказывать про письмо в Лигу Наций и при этом так смотрел на Вику, что все стали улыбаться. А потом Искра, пошептавшись с Леной Боковой, предложила играть в шарады, и они долго играли в шарады, и это тоже было весело. А потом громко пели песни про Каховку, про Орленка и про своего сверстника, которого шлепнули в Иркутске. И когда пели, Зина пробралась к Артему и виновато сказала:

— Ты прости, пожалуйста, что я назвала тебя Артемоном. Я вдруг назвала, понимаешь? Я не придумывала, а — вдруг. Как выскочило.

— Ничего, — Артем боялся на нее смотреть, потому что она была очень близко, а смотреть хотелось, и он все время вертел глазами.

— Ты правда не обижаешься?

— Правда. Даже, это… Хорошо, словом.

— Что хорошо?

— Ну, это. Артемон этот.

— А… А почему хорошо?

— Не знаю. — Артем скопил все мужество, отчаянно заглянул в Зиночкины блестящие глазки, почувствовал вдруг жар во всем теле и выложил: — Потому что ты, понимаешь? Тебе можно.

— Спасибо, — медленно сказала Зина, и глаза ее заулыбались Артему особой, незнакомой ему улыбкой. — Я иногда буду называть тебя Артемоном. Только редко, чтобы ты не скоро привык.

И отошла как ни в чем не бывало. И ничего ни в ней, ни в других не изменилось, но на Артема вдруг обрушился приступ небывалой энергии. Он пел громче и старательнее всех, он заводил старенький патефон, что принес Пашка Остапчук, он даже порывался танцевать — но не с Зиной, нет! — с Искрой, оттопал ей ноги и оставил это занятие. Мама следила за ним и улыбалась так, как улыбаются все мамы, открывая в своих детях что то новое: неожиданное и немного взрослое. А когда все разошлись и Артем помогал ей убирать со стола, сказала:

— У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья, но знаешь, кто мне понравился больше всех?

Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.

— Правда, мам? — расцвел Артем.

И это был самый лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить.

Но это было уже поздно вечером, когда черная «эмка» увезла Вику, а остальные весело пошли на трамвай. И громко пели в пустом вагоне, а когда кому нибудь надо было сходить, то вместо «до свидания» уходящий почему то кричал:

— Физкультпривет!

И все хором отвечали:

— Привет! Привет! Привет!

Но и это было потом, а тогда танцевали. Собственно танцевали только Лена с Пашкой да Зиночка с Искрой. Остальные танцевать стеснялись, а Вика сказала:

— Я танцую или вальс, или вальс бостон.

Чего то не хватало — то ли танцующих, то ли пластинок, от танцев вскоре отказались и стали читать стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена Пушкина, Зиночка— Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но, когда все закончили, достала из сумочки — у нее была настоящая дамская сумочка из Парижа — тонкий потрепанный томик.

— Я прочитаю три моих любимых стихотворения одного почти забытого поэта.

— Забытое — значит, ненужное, — попытался сострить Жорка.

— Ты дурак, — сказала Вика. — Он забыт совсем по другой причине.

Она прошла на середину комнаты, раскрыла книжку, строго посмотрела вокруг и негромко начала:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду…

— Это Есенин, — сказала Искра, когда Вика замолчала. Это упадочнический поэт. Он воспевает кабаки, тоску и уныние.

Вика молча усмехнулась, а Зиночка всплеснула руками: это изумительные стихи, вот и все. И зу ми тель ны е!

Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились и спорить она не могла. И не хотела. Она точно знала, что стихи упадочнические, потому что слышала это от мамы, но не понимала, как могут быть упадочническими такие стихи. Между знанием и пониманием возникал разлад, и Искра честно пыталась разобраться в себе самой.

— Тебе понравились стихи? — шепнула она Сашке.

— Ничего я в этом не смыслю, но стихи мировецкие. Знаешь, там такие строчки… Жалко, не запомнил.

— «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…» задумчиво повторила Искра.

«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…» вздохнул Сашка. Вика слышала разговор. Подошла, спросила вдруг:

— Ты умная, Искра?

— Не знаю, опешила Искра. — Во всяком случае, не дура.

— Да, ты не дура, улыбнулась Вика. Я никому не даю эту книжку, потому что она папина, но тебе дам. Только читай не торопясь.

— Спасибо, Вика. — Искра тоже улыбнулась ей, кажется, впервые в жизни. — Верну в собственные руки.

На улице два раза рявкнул автомобильный сигнал, и Вика стала прощаться. А Искра бережно прижимала к груди зачитанный сборник стихов упадочнического поэта Сергея Есенина.

Глава третья

Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать, в коридорах стояли кадки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал — редчайшая вещь по тем временам.

— Прекрасный подарок нашей детворе, — сказал представитель гороно. — Значит, так. На первом этаже — первые и вторые классы; на втором, соответственно, третьи и четвертые и так далее по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает.

— Это удивительно точно, — подтвердила Валентина Андроновна. — Даже символично в прекрасном, нашем смысле этого слова.

Валентина Андроновна преподавала литературу и временно замещала директора. Ее массивная фигура источала строгость и целеустремленную готовность следовать самым новейшим распоряжениям и циркулярам.

Сделали согласно приказу, добавив по своей инициативе дежурных на лестничных площадках со строгим уговором: никого из учеников не пускать ни вниз, ни вверх. Школа была прослоена, как пирог, десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Каждый этаж жил жизнью своего возраста, но зато, правда, никто не катался на перилах. Кроме дежурных.

Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги «шимми» и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами, был по кавалерийски шумлив, любил громко хохотать и чихать на всю школу.

— Кадетский корпус, заявил он, ознакомившись с символической школьной структурой.

— Распоряжение гороно, — со значением сказала Валентина Андроновна.

— Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея — воспитать гражданина новой, социалистической Родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром.

Он немного подумал и написал первый приказ:

"1 й этаж. Первый и шестой классы.

2 й этаж. Второй, седьмой и восьмой.

3 й этаж. Третий и девятый.

4 й этаж. Четвертый, пятый и десятый.

— Вот, сказал он, полюбовавшись на раскладку. Все перемешаются, и начнется дружба. Где главные бузотеры? В четвертом и пятом: теперь на глазах у старших, значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных, пусть шуруют по всем этажам. Ребенок — существо стихийно вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во первых. Во вторых, у нас девочки растут, а зеркало — одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала. Слышишь, Михеич? Купить и повесить.

— Кокоток растить будем? — ядовито улыбнулась Валентина Андроновна.

— Не кокоток, а женщин. Впрочем, вы не знаете, что это такое.

Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала. Куда следует. Но там на это письмо не обратили никакого внимания, то ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, чем и привели девочек в состояние постоянно действующего ажиотажа. Появились новые бантики и новые челки, на переменах школа победно ревела сотнями глоток, и директор был очень доволен.

— Жизнь бушует!

— Страсти преждевременно будим, — поджимала губы Валентина Андроновна.

— Страсти — это прекрасно. Хуже нет бесстрастного человека. И поэтому надо петь!

Специальных уроков пения в школе не было из за отсутствия педагогов, и директор решил вопрос волюнтаристски: отдал приказ об обязательном совместном пении три раза в неделю. Старшеклассников звали в спортзал, директор брал в руки личный баян и отстукивал ритм ногой.

Мы красные кавалеристы, И про нас

Был ими и к и речистые Ведут рассказ…

Эти спевки Искра очень любила. У нее не было ни голоса, ни слуха, но она старалась громко и четко произносить слова, от которых по спине пробегали мурашки:

Мы беззаветные герои все…

А вообще то директор преподавал географию, но своеобразно, как и все, что делал. Он не любил установок, а тем паче — указаний и учил не столько по программе, сколько по совести большевика и бывшего конармейца.

— Что ты мне все по Гангу указкой лазаешь? Плавать придется, как нибудь разберешься в притоках, а не придется, так и не надо. Ты нам, голуба, лучше расскажи, как там народ бедствует, как английский империализм измывается над трудящимся людом. Вот о чем надо помнить всю жизнь!

Это когда дело касалось стран чужих. А когда своей, директор рассказывал совсем уж вещи непривычные.

— Берем Сальские степи. — Он аккуратно обрисовывал степи на карте. — Что характерно? А то характерно, что воды мало, и если случится вам летом там быть, то поите коня с утра обильно, чтоб аж до вечера ему хватило. И наш конь тут не годится, надо на местную породу пересаживаться, они привычнее.

Может, за эти рассказы, может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом любила директора школа. Любила, уважала, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничанья и, если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал: не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства.

В восьмом классе парень ударил девочку. Не случайно, и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из восьмого класса всех ребят и отдал приказ:

— Найти и доставить. Немедленно. Все. Идите. К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы, поставил в центр доставленного и сказал:

— Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек. Но знаю одно: сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожнее. С ним нельзя дружить, потому что он предаст, его нельзя любить, потому что он подлец, ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость, пока не станет настоящим мужчиной. А чтоб ему было понятно, что такое настоящий мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина тот, кто любит только двух женщин. Да, двух, что за смешки! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть, и это самые главные предметы в жизни!

Искра зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара. И весь зал зааплодировал за нею.

— Тише, хлопцы, тише! — Директор заулыбался. — Между прочим, в строю нельзя в ладоши бить. — Он повернулся к парню, усердно изучавшему пол, и в мертвой тишине сказал негромко и презрительно: — Иди учись. Средний род.

Да, они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали столь дружно и глубоко, что не затрачивались уже ни на какие иные эмоции. Разговоров с нею не искали: терпеливо выслушивали, стараясь не отвечать, а если отвечать все же приходилось, то пользовались ответами наипростейшими: «да» и «нет». Но Валентина Андроновна была далеко не глупа, прекрасно знала, как к ней относятся, и, не найдя путей к умам и душам, начала чуть чуть, самую малость заискивать. И это «чуть чуть» было тотчас же отмечено классом.

— Что то наша Валендра заюлила? — громко удивился Пашка Остапчук.

— Льет масло в будущие волны страстей человеческих, — с пафосом изрекла Лена Бокова.

— Ворвань она льет, а не масло, — проворчал просвещенный филателист Жорка Ландыс. — Откуда у такой задрыги масло?

— Прекрати, — строго сказала Искра. — О старших так не говорят, и я не люблю слово «задрыга».

— А зачем же произносишь, если не любишь?

— Для примера. — Искра покосилась на Вику, отметила, что она улыбается, и расстроилась. — Нехорошо это, ребята. Получается, что мы злословим всем классом.

— Ясно, ясно, Искра! — торопливо согласился Валька Эдисон. — Действительно, в классе не надо. Лучше дома.

Но Валентина Андроновна вовсе не ограничивала свои цели классом. Да, ей хотелось властвовать над умами и душами строптивого 9 "Б", но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа — ее школа, где она целых полгода правила единовластно, — ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну, вот что заставляло ее писать письма по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это «пока».

Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере даже тайно, даже про себя. Она думала о линии, и эта сегодняшняя линия нового директора вполне искренне, до слез и отчаяния, представлялась ей ошибочной. Искренне Валентина Андроновна боролась не за личное, а за общественное благо. Ничего личного в ее аскетической жизни одинокой и необаятельной женщины давно уже не существовало.

В воскресенье веселились, в понедельник вспоминали об этом, а во вторник после уроков Искру вызвала классная руководительница.

— Садись, Искра, — сказала она, плотно прикрывая дверь 1 "А", в котором принимала для разговоров наедине.

В отличие от Зиночки Искра не боялась ни вызовов, ни отдельных кабинетов, ни бесед с глазу на глаз, поскольку никогда не чувствовала за собой никакой вины. А вот Зиночка чувствовала вину — если не прошлую, то будущую — и отчаянно боялась всего.

Искра села, одернула платье — это ужасно, когда торчат коленки, ужасно, а ведь торчат! — и приготовилась слушать.

— Ты ничего не хочешь мне рассказать?

— Ничего.

— Жаль, — вздохнула Валентина Андроновна. — Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить с Остапчуком или Александровым, с Ландысом или Шефером, с Боковой или Люберецкой, но я хочу говорить с тобой, Искра.

Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9 "Б», но Зиночка…

— Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола. Не только как к отличнице и общественнице. Не только как к человеку идейному и целеустремленному. — Валентина Андроновна сделала паузу, — но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь: зачем это вступление? Затем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать…

— Мне нечего вам сказать, — ответила Искра, лихорадочно соображая, что же они такое натворили в воскресенье.

— Да? А разве тебе неизвестно, что Есенин поэт упадочнический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения — я проверила анкету Шефера: он родился второго сентября. Второго, а собрал вас через три недели! Зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого певца?

— Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.

— Люберецкая? — Валентина Андроновна была явно удивлена, и Искра не дала ей опомниться.

— Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации. Это был пробный шар. Искра даже отвернулась, понимая, что идет на провокацию. Но ей необходимо было проверить подозрения.

— Значит, Вика? — Валентина Андроновна окончательно утеряла наступательный пафос. — Да, да. Коваленко много болтала лишнего. Кто то ушел из дома, кто то в кого то влюбился, кто то читал стихи. Она очень, очень несобранная, эта Коваленко! Ну что же, тогда все понятно, и… и ничего страшного. Отец Люберецкой — виднейший руководитель, гордость нашего города. И Вика очень серьезная девушка.

— Я могу идти?

— Что? Да, конечно. Видишь, как все просто решается, когда говорят правду. Твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек.

— Я подумаю об этом, сказала Искра и вышла. Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы. Ей необходимо было объяснить кое что про сплетни, длинный язык и легкомысленную склонность к откровениям.

Зиночка весело щебетала в обществе двух десятиклассников Юрия и Сергея, а вдали маячил Артем. Искра молча взяла подружку за руку и повлекла за собой; Артем двинулся было за ними, но одумался и исчез.

— Куда ты меня тащишь?

Искра завела Зину за угол школы, втиснула в закуток у входа в котельную и спросила без предисловия:

— Ты кто идиотка, сплетница или предатель? Вместо ответа Зиночка тут же вызвала на помощь слезы. Она всегда прибегала к ним в затруднительных случаях, но на сей раз это было ошибкой.

— Значит, ты предатель.

— Я? — Зина враз перестала плакать.

— Ты что наговорила Валендре?

— А я наговорила? Она поймала меня в уборной перед зеркалом. Стала ругать, что верчусь и… кокетничаю. Это она так говорит, а я вовсе не кокетничаю и даже не знаю, как это делают. Ну, я стала оправдываться. Я стала оправдываться, а она — расспрашивать, подлая. И я ничего не хотела говорить, честное слово, но… все рассказала. Я не нарочно рассказала, Искорка, я же совсем не нарочно.

Осторожно всхлипывая, Зиночка говорила что то еще, но Искра уже не слушала, а размышляла. Потом скомандовала:

— Утрись, и идем к Люберецким.

— Куда? — От удивления Зиночка мгновенно перестала всхлипывать.

— Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова.

— Но мы же никогда не были у Люберецких.

— Не были, так будем. Пошли!

Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Но если Искра гордилась про себя, то Вика — открыто и победоносно. Гордилась его наградами: орденом боевого Красного Знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве. Гордилась его многочисленными именными подарками от наркома, фотоаппаратами и часами, радиоприемниками и патефонами. Гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем.

Мать Вики давно умерла. Первое время с ними жила тетя сестра отца; позднее она вышла замуж, переехала в Москву и навещала Люберецких нечасто. Хозяйство вела домработница, быт был налажен, девочка росла и развивалась нормально, и тете не о чем было особенно беспокоиться. Беспокоился всегда сам Люберецкий. И с каждым годом беспокоился все больше именно потому, что дочь нормально росла и нормально развивалась.

Беспокойство выражалось в крайностях. Страх за нее породил машину, доставлявшую Вику в школу и из школы, в театр и из театра, за город и домой. Желание видеть ее самой красивой привело к заграничным нарядам, прическам и шубкам, которые были бы впору молодой женщине, а не девочке, только только начинавшей взрослеть. Он сам невольно торопил ее развитие, гордился, что развитие это обогнало ее сверстниц, и тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания.

Вика очень гордилась отцом и очень тяготилась одиночеством. Но была самолюбива, больше всего боялась, что кто нибудь вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.

— Извини, мы по важному делу, — сказала Искра.

— Какое зеркало! — ахнула Зина: зеркала были ее слабостью.

— Старинное, — не удержалась Вика. — Папе подарил знакомый академик.

Она хотела провести девочек к себе, но на голоса вышел папа — Леонид Сергеевич Люберецкий.

— Здравствуйте, девочки. Ну, наконец то и у моей Вики появились подружки, а то все с книжками да с книжками. Очень рад, очень! Проходите в столовую, я сейчас подам чай.

— Чай может подать Поля, — с легким неудовольствием сказала Вика.

— Может, но я лучше, — улыбнулся отец и ушел на кухню. За чаем Леонид Сергеевич ухаживал за девочками, угощал пирожными и конфетами в нарядных коробках. Искру и Зину смущали пирожные: они привыкли есть их только по великим праздникам. Но отец Вики при этом шутил, улыбался, и ощущение чужого праздника, на котором они оказались незваными гостями, постепенно оставило девочек. Зиночка вскоре завертелась, с любопытством разглядывая хрусталь за стеклами дубового буфета, а Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.

— Девочки, это все несерьезно. — Отец Вики тем не менее почему то погрустнел и тяжело вздохнул, — Никто Сергея Есенина не запрещал, и в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает, а разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.

— Нет, — сказала Искра. — Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер.

— Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.

— Папа!

— А разве это тайна? Извини. — Он снова обратился к Искре: — Оказалось, что я знаком с вашей мамой. Как то случайно повстречались в горкоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую, воевали в одной дивизии. Удивительно отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.

— Комиссар, — тихо, но твердо поправила Искра. Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.

— Комиссар, — согласился Люберецкий. — А что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный — крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.

— Не ет, — недоверчиво протянула Зиночка. — Искусство должно будить чувства.

— Зинаида! — сквозь зубы процедила Искра.

— Зиночка абсолютно права, — сказал Леонид Сергеевич. Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен: состояние покоя и довольства собой порождает леность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.

— А Маяковский? — тихо спросила Искра. — Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.

— В огромнейшем таланте Маяковского никто не сомневается, — улыбнулся Леонид Сергеевич.

— Папа был знаком с Владимиром Владимировичем, пояснила Вика.

— Знаком? — Зина живо развернулась на стуле. — Не может быть!

— Почему же? — сказал отец. — Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами, мы искали и спорили. Спорили ночи напролет, до одури.

— А разве можно спорить с…— Искра хотела сказать «с гением», но удержалась.

— Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму, она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.

В дверь заглянула пожилая домработрица:

— Машина пришла, Леонид Сергеевич.

— Спасибо, Поля. — Леонид Сергеевич встал, задвинул на место стул. — Всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.

— Ты надолго, папа?

— Раньше трех с совещаний не отпускают, — улыбнулся отец и вышел.

Искра долго вспоминала и случайную встречу, и возникший вдруг разговор. Но тогда, слушая немолодого (как ей казалось) человека с молодыми глазами, она со многим не соглашалась, многое пыталась оспорить, над многим намеревалась поразмыслить, потому что была человеком основательным, любившим докапываться до корней. И шла домой, раскладывая по полочкам услышанное, а Зиночка щебетала рядом:

— Я же говорила, что Вика золотая девчонка, ведь говорила же, говорила! Господи, восемь лет из за тебя потеряли. Какая посуда! Нет, ты видела, какая посуда? Как в музее! Наверное, из такой посуды Потемкин пил.

— Истина, — вдруг неторопливо, точно вслушиваясь, произнесла Искра. — Зачем же с ней спорить, если она — истина?

— «В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека…» — Зина очень похоже передразнила Валентину Андроновну и рассмеялась. — Попробуй, поспорь с этой истиной, а Валендра тебе «оч. плохо» вкатит.

— Может, это не истина? — продолжала размышлять Искра. Кто объявляет, что истина — это и есть истина? Ну, кто? Кто?

— Старшие, — сказала Зиночка. — А старшим — их начальники… А мне налево, и дай я тебя поцелую.

Искра молча подставила щеку, дернула подружку за светло русую прядку, и они расстались. Зина бежала, нарочно цокая каблучками, а Искра шла хоть и быстро, но степенно и тихо, старательно продолжала думать.

Мама была дома и, как обычно, с папиросой: после той страшной ночи, когда за нею случайно подсмотрела Искра, мама стала курить. Много курить, разбрасывая по всей комнате пустые и начатые пачки «Дели».

— Где ты была?

— У Люберецких.

Мама чуть приподняла брови, но промолчала. Искра прошла в свой угол, за шкаф, где стояли маленький столик и этажерка с ее книгами. Пыталась заниматься, что то решала, переписывала, но разговор не выходил из головы.

— Мама, что такое истина?

Мать отложила книгу, которую читала внимательно, с выписками и закладками, сунула папиросу в пепельницу, подумала, достала ее оттуда и прикурила снова.

— По моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.

— Тогда скажи: существуют ли бесспорные истины. Истины, которые не требуют доказательства.

— Конечно. Если бы не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.

— Значит, человек живет во имя истины?

— Мы да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас партия. За нее пролито столько крови и принято столько мук, что спорить с нею, а тем более сомневаться — значит предавать тех, кто погиб и… и еще погибнет. Эта истина — наша сила и наша гордость. Искра. Я правильно поняла твой вопрос?

— Да, да, спасибо, — задумчиво сказала Искра. Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.

— С друзьями спорить не о чем, а с врагами надо драться.

— Но ведь надо уметь спорить?

— Надо учить самой истине, а не способам ее доказательства. Это казуистика. Человек, преданный нашей истине, будет, если понадобится, защищать ее с оружием в руках. Вот чему надо учить. А болтовня не наше занятие. Мы строим новое общество, нам не до болтовни. — Мать бросила в пепельницу окурок, вопросительно поглядела на Искру. — Почему ты спросила об этом?

Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил, о восклицательных и вопросительных знаках, по которым Леонид Сергеевич оценивал искусство, но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и сказал:

— Просто так.

— Не читай пустопорожних книг, Искра. Я хочу проверить твой библиотечный формуляр, да все никак не соберусь, а мне завтра предстоит серьезное выступление.

Формуляр Искры был в полном порядке, но Искра читала и помимо формуляра. Обмен книгами в школе существовал, вероятно, еще с гимназических времен, и Искра уже знала Гамсуна и Келлермана, придя от «Виктории» и «Ингеборг» в странное состояние тревоги и ожидания. Тревога и ожидание не отпускали даже по ночам, и сны ей снились совсем не формулярного свойства. Но об этом она не говорила никому, даже Зиночке, хотя Зиночка о подобных снах частенько говорила ей. Тогда Искра очень сердилась, и Зина не понимала, что сердится она за угаданные сны.

Разговор с матерью укрепил Искру в мысли о существовании непреложных истин, но кроме них существовали и истины спорные, так сказать, истины второго порядка. Такой истиной, в частности, было отношение к Есенину, которого Искра все эти дни читала, учила наизусть и кое что из которого переписывала в тетрадь, поскольку книга подлежала скорому возврату. Она переписывала тайком от матери, потому что запрет, хоть и не гласный, все же действовал, и Искра впервые спорила с официальным положением, а значит, и с истиной.

— А я давно все понял, — сказал Сашка, когда она поведала ему о своих сомнениях. — Есенину просто завидуют, вот и все. И хотят, чтобы мы его забыли.

Такое простое объяснение Искру устроить не могло. А посоветоваться было не с кем, и она, основательно подумав, решила расспросить при случае Леонида Сергеевича.

В школе царила тишина, словно не было неприятного разговора среди парт первоклашек, не было чтения крамольных стихов, да и самого вечера у Артема тоже вроде бы не было. Валентина Андроновна никого больше не вызывала, при встречах милостиво улыбалась, и Искра решила, что Леонид Сергеевич прав: случилось под горячую руку. Никто не путал порядок вещей, истины оставались истинами такими же чистыми, недоступными и манящими, как восьмитысячники Гималаев. Искра по прежнему усердно занималась, читала стихи и неформулярные романы, играла в баскетбол, ходила с Сашей в кино или просто так и регулярно выпускала стенгазету, поскольку была ее главным редактором.

Глава четвертая

Строго говоря, Зиночка постоянно жила в сладком состоянии легкой влюбленности. Влюбленность являлась насущной необходимостью, без нее просто невозможно было бы существовать, и каждое первое сентября, заново возвращаясь в класс, Зиночка срочно определяла, в кого она будет влюблена в данном учебном году. Выбранный ею объект и не подозревал, что стал таковым:

Зиночка не усложняла свою жизнь задачей кому то понравиться — ей вполне хватало того, что сама она считала себя влюбленной, мечтала о взаимности и страдала от ревности. Это была прекрасная жизнь в мечтах, но в этом году старый способ себя почему то не оправдал, и Зиночка пребывала в состоянии страшного желания куда то все время бежать и в то же время оставаться на месте и ждать, ждать нетерпеливо и отчаянно, а чего ждать, она не знала.

В пятом классе Артем вовсе не был предметом ее тайной любви (он был предметом в третьем, но не знал этого). Зиночка тогда спасла его от возмездия по страсти к сильным ощущениям: у нее была такая тяга к страшному — ляпнуть что то, а потом посмотреть, что из этого выйдет. Из того опыта ничего доброго не вышло, но зато Зина всласть наревелась и долгое время ходила в героинях, даже за косы ее дергали сильнее и чаще, чем остальных девочек. И этого было достаточно, и она не обращала на Артема ровно никакого внимания еще целых три года, успев заменить косички короткой стрижкой. А на дне рождения вдруг открыла, что сама, оказывается, стала объектом, что нравится Артему, что он совершенно особенно смотрит на нее и совершенно особенно с ней говорит.